

Юрий ДЮЖЕВ

Юрий Иванович ДЮЖЕВ родился в 1937 году в Ленинградской области. Литературовед, критик, автор нескольких книг и многочисленных статей по советской литературе. Кандидат филологических наук. Член Союза писателей СССР. Живет в Петрозаводске.



АЛЕКСЕЙ ГАНИН—ПРОЗАИК

В НАЧАЛЕ двадцатых годов в литературе русского Севера возник целый пласт произведений, пронизанных идеей депоэтизации «застойного» крестьянского быта. В крайних своих проявлениях обличение нравов нэповской деревни велось с такой яростной энергией, что заодно отрицались и нравственные достоинства в русском крестьянине.

«Деревни родимой не жаль», — писала Вера Гордина в литературном приложении к газете «Карельская коммуна» (Петрозаводск, 1922, «Красный клич», № 3), и эта позиция человека, который мечет копыя и стрелы в свое деревенское прошлое, была привычной для многих авторов. «Настоящая» жизнь для Н. Черняева из Великого Устюга начинается, когда он, бросив соху, «на далекий асфальтовый город дорогие места променял». Из счастливого сегодня, со страниц изданного Северо-Двинским отделением «Перевала» «Маленького альманаха» (1926), он шлет прощальный привет деревне, радуясь своему освобождению. Так же и для лирического героя поэмы Бориса Непейна «Былое», опубликованной в альманахе «Зарницы» (1925), единственной альтернативой «прозябанию» в крестьянской избе оказывается работа на заводе. Деревня прочно пустившему корни в городе герою вспоминается уже не часто: «Мне теперь милее и напевней приводов ласкающийся гул».

«Депоэтизируя» деревню, В. Гордина, Н. Черняев, Б. Непейн не считали необходимым вдаваться в детали и рисовать ее облик в общих чертах, через отношение горожанина к безнадежно отставшему от бега времени захолустью. Но отрицание стародеревенского бытия могло решаться и другими изобразительными средствами, через показ застойной сельской жизни «изнутри», как это было сделано Н. Тошако-

вым в «Поэме о Сашке», появившейся на страницах вологодской газеты «Ленинская молодежь» 16 апреля 1927 года. В центре ее — незадачливо сложившаяся судьба парня, который молодецкую удачу и неизбывные силы тратит на пьянку и драки, в разгар праздника убивает своего брата-комсомольца за резолюцию ячейки против хулиганства.

Судя по публицистике тех лет, такое негативное отношение к деревне возникло у части литераторов не без основания. Лишь за два года непа процент кулаков поднялся вдвое, а зажиточных — почти наполовину. Беднякам не хватало своего хлеба, и они его покупали. Только в Карелии освобождалось от сельхозналога до 20 процентов хозяйств на сумму 15—18 тысяч рублей*. У середняков избытков хватало лишь на сдачу натуральной части продналога. В итоге хлеб могли продавать преимущественно хозяйства зажиточной верхушки деревни, в руках которых оказалась третья часть валового производства сельского хозяйства. Ссылаясь на материалы обследования деревни комиссией ЦК, Ю. Ларин отмечал в июне 1923 года**, что классовая борьба в деревне ощущается довольно остро и далеко выходит за границы словесных битв. Бедняки все чаще вынуждены сдавать свою землю в аренду, попадают в прямую зависимость от кулаков.

С едкой иронией карельский журналист Жаритов описывал деревенского «божка», привыкшего уважать лишь тех, кто любыми способами сумел выбиться в богатеи: самые обидные упреки в лени, нежелании

* Н. Архипов. Карельская деревня за десять лет. — Карело-Мурманский край, 1927, № 10—11, с. 25—27.

** Ю. Ларин. Дифференциация крестьянства. — Красная новь, 1923, кн. 4, с. 188—189.

работать бросает он бедноте; ругая за глаза Советы, в лицо лебезит перед местной властью, чуть ли не за сто шагов снимает шапку. «Вместе с нэпом вернулись все те гады и шептуны, которые подбивали раньше на крик о свободной торговле. Им дали ее, захотелось больше алчным акулам... и уж царь воров и мерзавцев на устах у деревенских угнетателей», — писал журналист на страницах литературного приложения к газете «Карельская коммуна» — «Красный клич» (Петрозаводск, 1922, № 3), с огорчением отмечая неорганизованность бедноты, жизнь которой раздвигается нуждой.

Впечатления от деревенской «тьмы» усугублялись распространенными в ней предрассудками. В очерках-зарисовках, сделанных с натуры студентами Ленинградского Географического института и университета, участвовавшими в этнографических экспедициях по Новгородской, Череповецкой, Ленинградской и Мурманской губерниям в 1923 году, приводились факты бытования суеверий, шаманской, знахарской веры в колдовство. Студенты были свидетелями, когда на прием к колдуну, за которым часто приезжали из других деревень и возили его за 60—70 верст, собирались большие очереди, до 100 клиентов в день*.

Хотя многочисленный отряд обличителей деревни был весьма пестрым по составу, но и в нем выделялся среди прочих голос земляка А. Ганна Анатолия Субботина. «Погляди, что нынче по деревням-то делается! — говорит пожилой крестьянин Архип из драмы А. Субботина «Язва» (1922). — Пьянство-то, драк-то! Последние крошки на самогон гонят... Ни один праздник без убийства не проходит. Бывало, выпьешь, так боишься домой прийти; на товаде с пьяным-то ни одна девка гулять не будет, а нынче: чем пьянее да матюгов больше — тем лучше». «Язвой», разъедающей деревню, называет автор «самогон, пьянку, тьму» и на примере Горюновых, где пьют и отец, и сын, показывает всю пагубность этого зла.

Будучи редактором газеты «Красный Север», А. Субботин выдвигал на страницах еженедельника «Красное слово» (1921) справедливый тезис, что художественная агитация только тогда покажет себя, когда «выльется не в форме уродливых и грубых плакатов... а в формах ярких, кристальных образов, которые быстрой найдут доступ к человеческому сердцу». Однако в «Язве» именно плакатность образов оказывалась наиболее уязвимым местом, как и прямолинейное деление деревенских героев на «сытых» и «голодных» в маленькой пьесе «Сон наяву» (1921), где Сытому противопоставлялся добрый Домовой, требующий накормить безликих Голодных.

Сама жизнь снабжала писателя-деревенщика начала двадцатых годов весьма односторонним материалом: заметно легче

было писать, по признанию А. Субботина, «старую кулацкую деревню», «старое, привычное рабство, недуманье», нежели «новую деревню», показать, как «появляются живые ростки». И в самом деле — высказывая в разговоре о «старой» деревне незаурядную наблюдательность и дотошное знание дела, А. Субботин менее избретателен в изображении ростков новой жизни на селе и нередко ограничивается декларацией, что «новая деревня все громче заявляет свои права».

Опубликованные в 1922 году в «Кооперации Севера» «Маленькие рассказы» А. Субботина изображают крестьянские будни: приезд торговцев из-под самой Казани («Купцы приехали»); самогонное пиршество в Сенге («Раз в году бывает»); избиение до смерти Егорши-гармониста («Обыденный случай»); наивную веру деревенских в способность местного попа молитвами и крестным ходом спасти пораженные гнилью участки озими («Святой водицей»). И лишь однажды это перечисление присущих деревне пережитков старого прерывается, чтобы мелком упоминать «нового» человека, молодого крестьянина Митьку, который вопреки всем отказался от крестного хода, а взял да и вывел червя керосином.

«Маленькие рассказы», как и другие произведения А. Субботина, не ставят целью выдвигание идеала. Автору представляется важным на первом этапе снести до основания общественные институты старой деревни, крутыми способами покончить с патриархальным укладом жизни, вырвать с корнем ветхие обычаи и затем на освобожденном от всяких сорняков жизненном поле выращивать всходы будущего.

Как правило, уже в самом названии произведений А. Субботина подчеркивается критическое отношение к героям, будь то займищенские мужики из наброска «Буянь» («Красный Север», 1923, 6 января), что в овраге устроили самогонное производство и в пьяном угаре кольями прикончили Егоршу Антонихина, или кулацкие прихвостни из опубликованной в журнале «Кооперация Севера» (1923, № 19) драмы «Черная немочь». Когда же в рассказах А. Субботина и появлялся «новый» человек (в «Черной немочи» — невеста «камуниста» Сереги молодая крестьянка Марья, которую автор сравнивает с «высокой, стройной березкой»), то обычно его ждала горькая доля в схватке со страшной в своей злобе «буянью». Так, очень скоро почувствовал беспощадную силу «черной немочи» герой рассказа А. Субботина «Общественное дело» (1922) крестьянин Егор; он, отбыв срок в плену, отвоевав гражданскую, вернулся домой с радостными надеждами и услышал мужицкие разговоры о том, что новая власть «в раззор ввела, а выгоды-то — еще на ломаный грош от нее не видали», столкнулся с неприглядной картиной рвачества и спекуляции («А вокруг — кто самогон гонит, кто с маслом в Ярославль да Москву бесперечь ездит — деньги кучей гребут.

* В кн.: Старый и новый быт. Л., Госиздат, 1924, с. 103.

В газетах пишут: спекулянты-де, на прищудиловку их, таких-сяких, а по деревне спекулянты первые люди; почет и уважение имеют...»). Неудачей заканчивается мужицкая затея организовать в противовес местному торговцу Пантелееву деревенский кооператив. По доносу Пантелеева милиция опечатывает кооперативную лавку, а Егор со свояком Маланом оказываются в руках приятеля торговца, пробравшегося в Чека. И хотя рассказ имеет счастливый финал (через месяц все выясняется и свояком отпускают домой), но оставляет грустное впечатление пассивность мужицкой массы, и пальцем не пошевелившей, чтобы выручить попавшего по ложному доносу в беду активиста. Вокруг «общественного дела» пока не видно коллективных усилий деревни,— деревня таится, настороженно наблюдает за схваткой нового со старым, выжидая исхода поединка.

Свойственная рассказам А. Субботина известная разочарованность в общественном потенциале деревни была характерна и для произведений других авторов. Свое отрицательное отношение к миру сельской общины они проявляли в нарочитом фиксировании консервативных устоев деревни. Изображенные А. Жилиным в рассказе «На Волге» («Маленький альманах», В. Устюг, 1926) мужики мало в чем изменились за прошедшие после революции годы. По-прежнему у них на уме выпивка и деньги: выручив от продажи заготовленного леса по сотне рублей на каждого, они покупают водки и пьянствуют в Нижнем всю ночь.

Те, кто жил и работал на земле, не могли воспринять всерьез категорических утверждений некоторых потерявших ощущение времени литераторов, что деревня, как олицетворение «черной немочи», должна быть лишена права жизни, что она обречена самой историей и у ее обитателей уже нет возможности выбора своей судьбы. Радикальное осуждение всего «деревенского» для крестьянского читателя было тем более неприемлемо, что из жизненного опыта он знал не только о деревенской «тьме», но и о проявлениях подлинного коллективизма, встречался с земляками, достойными уважения, был исполнен непоказной гордости за свой земледельческий труд, ощущал себя звеном большой цепи предков, сотни лет живших на северной земле и выстоявших в суровых природных условиях. Поэтому прямолинейное противопоставление города селу, язвительное высмеивание «дикости» в отрезанных болотами от цивилизации деревнях, изображение сельского общества как примитивной формы человеческого существования, обреченной якобы на скорое вымирание, не могло найти одобрительного отклика у крестьянских читателей.

Понимание необходимости более диалектического, гибкого подхода к «деревенской» теме зрело и в самой писательской среде, где все чаще стали звучать голоса людей, подмечавших в человеке на земле присущее ему истовое трудолюбие, добрую при-

вычку к жизни в большой деревенской семье, умение понять и оценить полезное, новое. В таких произведениях деревенская жизнь рассматривалась во всей ее сложности и противоречиях, и человек на земле из олицетворения «тьмы» предстал достойным не только понимания, но и уважения.

В этом не столь уж обширном слое «деревенской» литературы тоже были свои крайности, вызванные издержками полемики с теми, кто «депоэтизировал» село. И тогда в противовес привычному восхвалению города и уничтожению деревни раздавались голоса с обратной расстановкой акцентов. Так, в воображении карельского литератора В. Прилежаева при слове «город» сразу возникали десятки угюмленных, бледных, худосочных подростков, тогда как при слове «деревня» он словно наяву видел парней и девушек «с открытой красивой улыбкой, полной задора... все дышит в них чем-то простым, безыскусственным, почти первобытным...» («Красный ключ», 1922, № 3). Конечно же, допущенное В. Прилежаевым противопоставление «больных сторон культуры веселящихся по ночам городов» крестьянской жизни, изображенной в духе абстрактных гуманистических формул («Природа их родная стихия, она арена их неустанной, тяжелой, но здоровой борьбы, они ее дети, со здоровой душой»), было не менее одиозным, нежели у его оппонентов.

Но такие крайности встречались не столь уж часто. Гораздо привычнее было некоторое выравнивание позиций по отношению к деревне, когда занимавшие, казалось бы, самую «антидеревенскую» позицию литераторы находили в себе силы увидеть за деревенской «тьмой» нравственную красоту русского человека.

Известный своими резкими «антидеревенскими» выпадами А. Субботин публикует в журнале «Красные всходы» (1922, № 2) отрывки из повести «Юдино дерево», а в «Кооперации Севера» — рассказ «Колоколена» (1923, № 4), где дает исполненное большой душевной теплоты зарисовки двух крестьянок. В юной Арине автор подмечает чувство собственного достоинства, счастливую уверенность в своей судьбе; в пожилой крестьянке по прозвищу Колоколена — врожденную доброту, любовь к людям, близость к природе. Литературные портреты и Арины, и Колоколены выполнены в сказовой, напевной манере, с щедрым вниманием к этнографическим деталям крестьянского быта. Свое вдохновение художник черпает в родниках фольклора, красоте народных обычаев, в «вечных» нравственных категориях.

Такой поворот художника от язвительного высмеивания самогонной «тьмы» к бережному раскрытию накопленных веками духовных богатств народа, к изображению «мудрости глубокой» простого человека был естественным для А. Субботина — патриота своей земли. В более же общем плане такая эволюция взглядов отражала наметившийся в литературе сдвиг в отношении к самой деревне, по-

требность более глубоко, «изнутри» разобратся в содержании крестьянской жизни.

И первым крупным произведением, свидетельствующим о благотворных тенденциях, стал роман А. Ганина (1893—1925) «Завтра», как бы заново открывший в северном крестьянине, трижды обруганном хулителями всего деревенского, поразительные нравственные достоинства.

Свободное изображение романа «Завтра» (подзаголовок: «Описание жизни деревни Загнетина прошлой, настоящей и будущей») определено уже тем, что он был написан рукой талантливого поэта, дружившего с Сергеем Есениным, выпустившего несколько книг стихов, в которых отчетливо звучала горькая мелодия расставания с уходящей в прошлое первозданной свежестью деревенского пейзажа, с миром людских отношений, все активнее разрушаемом городской цивилизацией. В читательской памяти еще свежи были исполненные чисто есенинской неприязни к городу строки из книги «Звездный корабль»: «Заржали кони промовым рыком, бичами молний избивали пашни. И черный город с горящим ликом опрокинули ниц, проглотили башни»*.

Можно было ожидать и от прозы А. Ганина той же верности антиурбанистическим мотивам, панегирижа деревне. Но А. Ганин слишком хорошо знал крестьянскую жизнь, чтобы строить на этот счет какие-либо иллюзии. Требовательную любовь к землякам он высказал уже в одном из первых прозаических опытов — в рассказе «Иван и корова» («Кооперация Севера», 1923, № 8), где история крестьянина-единоличника, оказавшегося в кольце безраздельного одиночества и нужды, имела дальний прицел и говорила о прозорливости автора, видевшего выход лишь на пути кооперации деревни.

Действие романа, начинаясь с восходом солнца, заканчивается к вечеру того же дня, и сюжетным нервом произведения становится обретающее аллегорический смысл движение загнетинских крестьян от своих сенокосных угодий — через болото — к родной деревне. Тут все имеет свое скрытое значение: и то, что крестьяне идут по широкой, как сама жизнь, проложенной с востока на запад просеке, оставляя за спиной золоченую маковку Дионисия Глушицкого, и то, что путь они держат не куда-либо в «белые скиты», а к родному дому, чтобы там своими мозолистыми руками построить лучшее будущее. Ритм безостановочного движения к цели непрерывно нарастает и постепенно подчиняет себе многие, казалось бы случайные, разбросанные здесь и там мелкие эпизоды, отрывки разговоров, случаи, воспоминания о прошлом и размышления о будущем. На этом пути идет проверка жизнестойкости, выдержки, коллективного разума.

Своеобразной прелюдией к главной теме романа становится описание утреннего

пробуждения природы, которое под стать доброму крестьянскому настроению. Да и как не радоваться: «Ноне первый год, после многих черных и бурных годов,— покой и раздумье. Вернулись к бабам мужья, вернулись и те, что лобы девичьему сердцу. Все за мирной работой»*. И от этого предвкушения череды солнечных дней спорится работа, «говорливо и весело» на лесных пожнях, где встали зеленые, высокие стога. Даже звуки мальчишеских свистулек радуют мужиков, теплеют их глаза — «опора на случай старости очевидна, она тут, и живет, и присвистывает», и уже свистульки детские для загнетинских мужиков оказываются не забавой, а «как бы вещественным доказательством высшего смысла жизни».

Среди таких вот кровно ощущающих связь с природой «детей земли» романист выделяет работающих поодаль Прохора и его дочь Агафийку, щедро наделенных и силой, и красотой. Уже в самом внешнем облике Прохора («мужик крепкий, светлородый, этакие грудиши да плечи,— прямо бессмертный. Ноги у дяди Прохора тоже не сковырнешь — даром что сороковую страду ходит он по пням да болотам») подчеркивается неизбежная жизненная энергия мужика. Вот он, бошой, в полинялой пестрядинной рубахе, с взлохмаченной бородой, подбрасывает целые конны на стог проворной дочери, а та уже укладывает косматое сено и сама словно растет над кустами, над березняком: «Упруго колыхалась под белой расширенной рубахой ее высокая девичья грудь, и оттого, что была она выше березняка и лес расстилался перед ней кудрявой зеленой пустыней, а небо ясно и голубо, в самое небо летели из груди ее ауканья, упругие и веселые, как и сама Агафийкина грудь». Близость к природе здесь достигает своего апогея, а полнота счастья близка к идеалу.

И вот в этот миг торжества «земляной» силы (этой особенностью герои романа близки мужикам Вс. Иванова из написанных им в 1920—1923 годах произведений, составивших впоследствии цикл «партизанских повестей») А. Ганин неожиданно меняет тональность произведения. Он знает, что хотя загнетинские крестьяне и вкусили воздух свободы, пользуются благами Декрета о земле, но, пока они остаются единоличными хозяевами, прошлое и вместе с ним горе, злоба, «тьма» еще не ушли безвозвратно. Миазмы прежней «болотной» жизни тянут свои грязные лапы к душе почуствовавшего радость свободного труда человека, и тогда даже Прохору, которому «весело было слушать работу свою и соседскую», вдруг занеможет: «Будто что лопнуло, да так лопнуло — и не свяжешь... Улетела из глаз Прохора радость за прожитый день... поднялось такое, будто затем он и жил, чтобы делать ненужное, все навыворот... Хочется что-то понять, и не может, и

* А. Ганин. Звездный корабль. Стихи. Вологда, 1920, с. 37.

* Кооперация Севера, 1923. № 15—16, с. 80. Далее в тексте ссылки на это издание.

пуше растет у него досада». С этой червоточинкой в душе и вступает Прохор вместе с другими загнетинцами на лесную тропу, где «переплетаются человеческий гомон и молвь с гомоном всякой твари лесной в незримое звонкое кружево», и начинается свой долгий переход через болото.

По мере развертывания сюжета все более укрепляется мысль, что роман А. Ганнина «Завтра» носит характер философской притчи: на первый взгляд будничная история «хождения» героев явственно готовится к иносказательному обобщению трудных исканий человеком своего идеала счастья. Символика романа отнюдь не абстрактна и накрепко привязана к жгучим для жизни деревни тех лет проблемам. За каждым из крестьянских типов — свое понимание времени, когда шел непростой отбор нравственных и социальных ценностей, когда деревня находилась в движении, противоборстве полярных мнений и крестьянину нелегко было определить свой идеал завтрашней жизни, порвать освященные традициями связи с вчерашним днем.

У Прохора есть возможность сравнивать свое понимание жизни с идеалом других крестьян и прежде всего соседей — Ивана и Михея. Первый из них в противовес пораженному душевной тревогой Прохору выглядит безмятежно спокойным. Он и не помышляет о лучшей жизни и довольствуется малым, теми крохами счастья, что дарит ему судьба («Погода стоит — благодать... ишь, птицы-то, прямо молебствие»), предпочитая иметь кулика в руке, чем журавля в небе. Душевное довольство Ивана внушает Прохору то же отвращение, что и посулы церкви, и не случайно он подмечает, как «разбегаются по иконному лицу у Ивана светлые лучикоморщинки у глаз» и про себя называет соседа «с виду совсем преподобным», — у такого не найти ответа на одолевшие душу трудные думы.

Но и тайные злобствования Михея на Советскую власть, его постоянные сетования на «худую» жизнь, томление по вчерашнему дню тоже не приходятся по душе Прохору. Он слишком хорошо помнит, как до революции тот же Михей, по прозвищу Чепа, ворочал капиталами, нещадно эксплуатируя односельчан. И земли тогда у Чепы было много, торговал, перегонял в город стада по сто голов каждое, а теперь, когда отобрали у него земельные излишки, прикрыли монопольное право закупать крестьянские продукты, остается Чепе жить сладкими воспоминаниями, испускать из души яд всепоглощающей ненависти к советским новинам, мечтая о возвращении к прошлому.

Образ Чепы строится со сказочным заострением, шаржированием внешности и повадок, должным подчеркнуть его духовное родство со всякой чуждой людям «нежитью», — отсюда и внезапно возникающее у Прохора ощущение, что Чепа «от большой бороды с головы до ног кажется шерстнатым и рыжим»; отсюда и привыч-

ка Чепы встретить в мужичий разговор незаметным образом, подобно злему духу: «Придет, как из-под земли выползет, и не заметишь — уйдет, вроде огонь болотный». И понятно, что Прохору неладно становится возле этого изъеденного изнутри завистью и злобой человека, который сеет вокруг себя недовольство, поощряет алчущих богатств, хулит жизнь при Советской власти («Нахватали вот земли, а толку нет... И земля родить перестала. Ишь, докатились, все труп на трупе...»), всюду он видит подвох, грязь, злой умысел.

Нет, с Чепой Прохору не по пути — с тем большим вниманием прислушивается крестьянин к разговору, что ведут односельчане по дороге домой о том, «кому живется счастливо, вольготно на Руси». Он соглашается с ними, что народ стал куда более просвещенным: раньше верили в бога, в чудеса, в райскую жизнь на том свете, боялись бесовских проделок, а сейчас ни рая, ни ада, и говорить-то нечего, разве лишь мельком помянут этот вздор, чтобы повести разговор «о людях, о политике всякой, а главное — как бы жизнь на земле устроить». И вот здесь-то, после слов Мишки Клюки, что «этак больше нельзя, а то все сдохнем от голоду да от глупой работы», что надо давно приняться обществом за болото, осушить его да сделать настоящие покосы, а то «на сыром у нас вымокло, на сухом лишаем подернуло, а где бы трава — пни да и кустарник», и приходит к Прохору прозрение, понимает он причину внезапно охватившей тоски: «Сегодня он первый раз за сороковую страду понял не только свою, но и всех, всего Загнетина, мучительную, бесполезную работу, идущую изо дня в день, из года в год... Прохор и раньше слышал, даже от своих сыновей, и о лучшей жизни, обо всем, но только сегодня, может быть от усталости, когда он стоял перед стогом на просеке, ему предстала вся его жизнь. Вспомнилось все, что видел и слышал, и все его дни серые, будто толпы оборванных иниций по серой дороге, под серым небом, прошли у него перед глазами». Он с особенной остротой понимает, что в одиночку никогда не сможет быть счастлив, никогда не приблизится к «завтра», что прав Клюка: «всему обновенье надо, да через труд человеческий, да через разумный».

Подробно выписанные разговоры мужиков, как устроить достойную человека жизнь, примечательны самим фактом рождения идей кооперации из гуши народного опыта, из трезвого анализа жизненных обстоятельств. Здесь ист спущенной «сверху» директивы, а есть продиктованное движением крестьянских сердец осознанное желание объединить усилия ради общего дела и на том же заболотье, где со ста десятин загнетинские мужики всем миром накашнали шестьсот пудов, устроить мелиорацию и травосеяние, резко увеличить и площади сенокосных угодий, и урожай.

Эта высказанная мысль во время движения крестьянской массы через болото еще

более подстегивает уже наметившуюся ранее активизацию сил косности, зла, которые не собираются добровольно отступать со своих позиций — не случайно первая часть романа заканчивается многозначительной зарисовкой наступающих сумерек, когда стусились тени от берез и «будто мертвые монахи, хлестнулись широкополые тени по луговинам. Притихли, как будто что чувят».

Настроение тревожного ожидания сгушается с первых строк новых глав романа («Кооперация Севера», 1923, № 17—18), продолжающих рассказ о трудном пути загнетинцев в «завтра». Чем ниже опускается солнце за черту леса, тем все чаще проявляется у людей скрытая боязнь неведомых, злых сил, пасмурней, строже становятся лица; все реже ведутся разговоры, «что и как, чтобы лучше», и вот уже, в болоте, «цветной поток рассыпается, ломается о пни да корни. Все вразброд. И думы вразброд. Хрюкают загнетинские, прыгают с кочки на пень, с пня на колоду... Болотная сырость охватывает загнетинских. Осыпают загнетинские матерщинами каждый пень, каждую кочку, где довелось им споткнуться, и шире расползаются по болоту... Глуше становятся голоса, и будто их проглотило болото». Силы тьмы, болотные уродцы, словно торпятся взять реванш, наказать строптивых правдолюбцев за их устремленность в будущее, смешать с болотной грязью их мечты о завтрашнем дне. И вновь в романе на первый план выходит иносказательный образ пожирающего все живое болота, где белесым туманом курятся «мертвые зыбуны», где затанцала и манит к себе людей «рогатая сухорукая нежить»: «Глубже засасывает болотная грязь и без того уставшие ноги, и кажется всем, нет ему, проклятому, конца, и нет им, загнетинским, отсюда исхода...».

Сложным стилистическим оформлением, включающим употребление фольклорных оборотов, изощренных метафор, крестьянского просторечья, «сказовость» самой интонации, роман А. Ганина близок к «орнаментальной» прозе и прежде всего к ранним произведениям Леонида Леонова «Бурьга», «Деревянная королева», «Валлина кукла» и повести «Петушихинский пролом», которая впервые была опубликована отдельным изданием в Москве в том же 1923 году. Как и Л. Леонов, А. Ганин изображает «пролом» в патриархальном укладе собственной деревни. При этом самые сложные его иносказательные образы имеют серьезную жизненную основу, в них нет мистического элемента. Автора трудно упрекнуть в уходе в мир условных импрессионистских образов; даже когда он пользуется приемами поэтической речи, сказ — в каждом конкретном случае он опирается на привычные северному крестьянину представления о мире.

Ведь и описание затерявшихся в бескрайних топях людей сразу же рождало в душах читателей-северян воспоминания о сходных ситуациях, когда «голюса и хлюпанье, шуршанье о сосны и эта вечная

тишь глухонемого безлюдья влетают в белесый туман, и кажется на минуту, не люди идут и мучаются смехотворной и страшной жизнью, похожей на бред, а ожили кокоры и низколобые сосны», и уже чудится, что нет выхода из трясины, из цепких лап «сухорукую нежить». Автор как бы предостерегает своих героев, избравших дорогу к лучшему будущему, о наличии серьезных противоречий, конфликтов, скрытых прежде всего в двойственности самой природы крестьянина: и собственника, и труженика. Нелегко будет не только преодолеть открытое сопротивление «оживших кокор», наподобие богатея Чепы, но и переломить в себе самом воспитанное веками царского правления прежнее холопство, вырвать с корнем следы «смехотворной и страшной жизни», продолжающей цепко держать крестьянские души, размывавшей новыми и новыми вспышками собственнических инстинктов ростки коллективистских отношений, когда «и разговоры уже не те, счастливые и мирные, а другие, злые, вострепанные», когда на кулаках сводятся личные счеты и «уже страшно становится за всех: и за себя, и за мир, и за что-то еще, от чего подымаются волосы».

Слишком призрачна еще граница между благими намерениями и вековым опытом застойного полудикого существования, слишком тонка еще прослойка коллективистских отношений, чтобы сразу же подавить вспышки, казалось бы, немотивированной злобы, «когда хочется рвать ему свою последнюю рубаху в лепестки, изодрать до крови себя и других, вдребезги растоптать свою последнюю чашку, выщелкать стекла и орать в разбитую раму куда-то туда, а потом — либо сунуться в петлю, либо захлестнуться каким-нибудь зельем и воткнуться башкой в первой попавшейся подворотне».

Оттого с такой легкостью забывают свой жизненный ориентир загнетинские крестьяне, оказавшись среди бесконечного болота; оттого с такой яростью кланут «нищие серые дни», весь мир олицетворяя в образе страшного нетопыря («он раскочал зыбуны, вытоптал кочки и ямы, навыворачивал из-под земных глубин гнилые кокоры, коряги и всю, всю гниль вековую, болотную с целого света стаскал он в глупой забаве сюда, на дорогу загнетинских»), все злое, дурное, что накопилось в их собственных душах, мешает жить, закрывает путь в «завтра». И уже кажется, что наметившиеся было мостки доверия между людьми безнадежно рухнули в трясины, «и никто не поручится теперь ни за себя, ни за друга, что вот, за малейший пустяк, он не тяпнет по затылку кого-то, кто ближе, косой или выгнившим плем, и не свалит. У всех одна и та же ноша: нелепая обида и безвыходная скука, скука пней и коряг и низколобого шершавого сосняка».

В эту «глухую минуту», когда отчаяние и безысходность достигают своих пределов, у героев романа вновь возникает в качестве единственной альтернативы

«смехотворной и странной жизни» идея сознательного коллективного труда. Все громче раздается голос предложившего осушить болото Ключки, что «дадена земля человеку — ее и люби. И делай, как те удобней»; все смелее возражают крестьяне тем, кто проповедует привычную покорность судьбе («что ни делай, а у Бога силой не вырвешь»). И уже не кажется безмерной власть болотной «нежити», уже виден ее последний час. Пусть тысячи лет дремало болото под лягушачий квак, пугало прохожих плачем пугливой пичуги да хохотом гулко го филлина, укрывало «сухорукою нежить». Пусть «было оно господином, могучим, как смерть, на тысячи людских поколений, в синих просторах загнетинских вотчин», — приходит и ему конец: «Не новые ли колдуны, безродные, появились, — вот они царапают тайные знаки на шершавой коре и по-новому заклинают болото...».

И чем ближе к финалу, тем все оживленнее звучат крестьянские голоса, все чаще слышатся речи, что «молитвой дороги не сделать, молитвой и поля не засеять, а дураку да лодырю-живодеру оправдание — тут надо организация»; что нужны техника, электричество («А дай-ко бы настоящему свет-то да машины, оно бы во сто раз и скорее и пользы в тысячу раз больше...»). При этом, как и ранее, мысль об «организации» как бы стихийно рождается из глубины крестьянских сердец. В «веселом слове» — «организация» для Прохора воплощаются его надежды на лучшее будущее, и словно отступают недавние тревоги и страхи: «То, что гнило в груди у Прохора, как стог прошлогоднего сена, вспыхнуло и загорелось. И закорчилось в груди у Прохора древние страхи и бреды болотные, сгорая в веселом пожаре...» Болотные туманы и мертвые зыбуны в прямом и переносном смысле остаются позади, и загнетинские крестьяне выбирают из топи на зеленый пригорок, где вновь сплетаются в живой цветной поток и продолжают разговор о будущем.

На мажорной ноте заканчивается роман А. Ганина, даровито раскрывший «пролом» в патриархальном укладе деревни, проникнутый искренней верой в коллективный разум народа. Концепция этого талантливого произведения непосредственно вытекает из высказанных В. И. Лениным еще в годы гражданской войны положений о необходимости завоевать доверие середняка не словом, а делом, поверить в правильность декретов о крестьянском хозяйстве: «Если декреты правильны, то неправильно навязывать их крестьянину силой», о том, что не следует смешивать средних крестьян с кулачеством, а надо рассчитывать на длительный период сотрудничества с середняком, поощрять и всемерно поддерживать всякого рода товарищества и коммуны середняков, снабжать их сельскохозяйственными орудиями, ока-

зывать финансовую и организаторскую помощь кооперативным объединениям крестьян и кустарной промышленности*.

Герои романа А. Ганина «Завтра» пока только мечтают о кооперативном объединении. На пути к лучшей жизни их ждут еще немалые испытания, но они убеждены, что движутся в верном направлении и в конце концов придут в счастливое «завтра».

Как и в прозе, появившейся в шестидесятые годы, обращение А. Ганина к первоосновам народной жизни, к вековому укладу северного крестьянства диктовалось желанием показать ту почву, на которой, по словам В. А. Сурганова, «вырастал и формировался национальный характер, культура, мораль, из глубин которой били родники, питавшие и крепившие Россию»**.

Однако такое понимание исторической обусловленности поэтизации «привычного дела» живущих на земле людей пришло не сразу. Ему предшествовала, начиная с двадцатых годов, волна разносной критики, утверждавшей, что надо не прощаться, а радоваться исчезновению старой деревни, что певцы крестьянской Руси если и не «кулацкие» писатели, то во всяком случае находятся на обочине литературного развития, ставят палки в колеса общественного прогресса***. Лишь много позднее сформировалось убеждение, что в произведениях так называемых «защитников патриархальности» «речь идет о реальном духовном богатстве, накопленном русским крестьянством на протяжении всей его истории, о любви к земле и труду на ней, о честном отношении к этому труду, о сознании глубокого родства с природой, верности семейным и «мирским» традициям. И еще выступает здесь, конечно, желание уберечь и закрепить русскую национальную основу в искусстве, в быту, в морально-этических устоях»****.

Роман «Завтра» убеждает нас в том, что уже в первые послереволюционные годы в арсенале художественных средств летописцев деревни встречаются не только социологически четкий анализ злободневных проблем с контрастными черно-белыми характеристиками героев, но и живописное изображение непреходящей ценности крестьянских идеалов, русской национальной основы в быту и морально-этических устоях северянина.

Чувство уважения к моральным и духовным ценностям крестьянской жизни сближает прозу А. Ганина с произведениями плеяды современных деревенских прозаиков Севера.

* В. И. Ленин. Поли. собр. соч. Т. 38, с. 200—202, 207—210.

** В. А. Сурганов. Человек на земле. М., 1975, с. 489.

*** См. статьи сборника «Пути крестьянской литературы». М.—Л., «Моск. рабочий», 1929.

**** В. А. Сурганов. Человек на земле, с. 545—546.